

Предисловие автора

Я работал над этой книгой в течение двух лет, отдавая ей много времени и труда. И если ее достоинства и недостатки не говорят сами за себя при чтении, значит моя работа пошла вглубь.

Если бы я мог выступить с оправданиями того неумеренного вымысла, каким являются Полипы и Министерство Волокиты, я стал бы искать этих оправданий в повседневной жизни рядового англичанина, не говоря уже о том незначительном обстоятельстве, что столь бесцеремонное нарушение приличий было допущено мною в дни войны с Россией и судебного разбирательства в Челси¹. Если бы я решился отстаивать право на существование столь экстравагантного персонажа, как мистер Мердл, я бы намекнул, что он был задуман после эпопеи с железнодорожными акциями, в пору деятельности некоего Ирландского банка и еще одного-двух столь же почтенных учреждений². Если бы мне понадобились смягчающие обстоятельства для фантастического утверждения, будто дурной замысел иногда прикидывается замыслом добрым и сугубо благочестивым, я сослался бы на ту любопытную случайность, что это утверждение, выраженное в крайней форме на страницах данной кни-

¹ В ходе Крымской войны Англии, Франции, Турции и Сардинии с Россией (1853—1856) в английской армии были выявлены хищения командования, а также дезорганизации государственного и военного управления. Весной 1855 года парламент начал следственное разбирательство злоупотреблений, связанных с крымской экспедицией.

² В 1850-е годы в Англии прошла серия процессов, связанных с разоблачением дутых акционерных предприятий. Перед судом предстали в том числе члены правления Бирмингемской и Шрюсберийской железных дорог. Ирландец-аферист Джон Сэдлер основал акционерный банк в Типперери. Позже Сэдлер, опасаясь быть разоблаченным, покончил с собой.

ги, совпало по времени с публичным допросом директоров Королевского британского банка. Но я готов, если потребуется, подчиниться заочному приговору по всем этим пунктам и признать мнение авторитетов, что ничего подобного никогда не имело места в нашей стране.

Некоторые из моих читателей, быть может, пожелают узнать, сохранилась ли тюрьма Маршалси, хотя бы частью, до нашего времени. Я сам этого не знал, пока писал свою книгу, и только когда работа уже близилась к концу, отправился взглянуть. Я увидел, что на месте наружного дворика, так часто упоминающегося на этих страницах, красуется бакалейная лавка, и это заставило меня предположить, что от старой тюрьмы камня на камне не осталось. Однако, бродя по одной из близлежащих улиц, обозначенной как Энджел-Корт, ведущая к Бермондси, я вдруг очутился на Маршалси-Плейс и не только признал в стоящих там домах бóльшую часть строений старой тюрьмы, но даже убедился, что целы те помещения, которые я мысленно видел перед собой, когда работал над жизнеописанием Крошки Доррит. Какой-то неправдоподобно крошечный мальчуган, державший на руках неправдоподобно громадного младенца, с почти сверхъестественной точностью рассказал мне о прошлом этих мест. Откуда у этого юного Ньютона (ибо я считаю его вполне достойным такого наименования) подобная осведомленность — мне неизвестно; чтобы почерпнуть ее из личного опыта, он должен был родиться на четверть века раньше. Указав на окно комнаты, где появилась на свет Крошка Доррит и где столько лет прожил ее отец, я спросил, кто там живет теперь. Мой собеседник ответил: «Том Питик». Я спросил, кто такой Том Питик, и услышал в ответ: «Джека Питика дядя».

Пройдя немного дальше, я обнаружил ту старую и не столь высокую стену, что шла вокруг тесной внутренней тюрьмы, куда никого никогда не запирали, разве что в особо торжественных случаях. Всякий, кто в наши дни попадет на Маршалси-Плейс, пройдя через Энджел-Корт, ведущую к Бермондси, будет ступать по тем самым каменным плитам, по которым некогда ступали узники Маршалси; направо и налево от него протянется узкий тюремный двор, почти не изменившийся, если не считать того, что верхнюю часть стен снесли, когда это место перестало быть тюрьмой; к нему будут обращены окна комнат, где томились неисправные должники, и скорбные тени прошлого обступят его толпой.

КНИГА ПЕРВАЯ

БЕДНОСТЬ

ГЛАВА I

Солнце и тень

Однажды в августовский полдень, тридцать лет тому назад, Марсель изнывал под палящими лучами солнца.

Палящий зной в середине августа был не редкостью для юга Франции в то время, как и во все прочие времена. Раскаленное небо сверкало над городом, а в городе и в его окрестностях тоже все сверкало, отражая солнечный свет. Сверкали белые стены домов, сверкали белые улицы, сверкали белые ограды, сверкали истрескавшиеся от зноя ленты дорог, сверкали холмы, где вся зелень была выжжена солнцем, и от этого повсеместного сверкания одурь брала случайного прохожего. Только лозы, отягченные спелыми гроздьями, нарушали сверкающую неподвижность, едва заметно подрагивая, когда горячий воздух шевелил их поникшие листки.

Даже легкий ветерок не рябил тусклую воду гавани и прекрасную гладь открытого моря. Черные и синие воды не смешивались, и граница между ними была ясно видна; но сейчас море было так же неподвижно, как и мутная лужа, от которой оно всегда оберегало свою чистоту. Лодки, не защищенные тентами, накалились так, что нельзя было прикоснуться к бортам; на обшивке кораблей пузырями вздулась краска; камни набережной уже несколько месяцев не остывали ни ночью, ни днем. Жители Индии, русские, китайцы, испанцы, португальцы, англичане, французы, неаполитанцы, генуэзцы, венецианцы, греки, турки, потомки всех строителей Вавилонской башни, прибывшие в Марсель торговать, — одинаково искали тени, готовы были спрятаться куда угодно, лишь бы спастись от слепящей синевы моря и от огненных лучей исполинского алмаза, вправленного в небесный пурпур.

Разлитое кругом сверкание резало глаза. Правда, там, где на горизонте угадывались очертания итальянского берега,

сверкающая даль была подернута легкой дымкой испарений, медленно поднимавшихся с моря; но это было только в одной стороне. Белые от пыли дороги сверкали по склонам гор, сверкали в глубине долин, сверкали на бесконечной ширине равнины. Белые придорожные домики были увиты пыльными лозами, длинные ряды иссушенных солнцем деревьев тянулись вдоль дорог, не давая тени, и все кругом никло, истомленное сверкающим зноем, который шел от неба и от земли. Истомлены были лошади, тянувшие вглубь страны вереницы повозок под дремотное позвякивание колокольцев; истомлены были возницы, клевавшие носом на козлах; истомлены были землепашцы в полях. Все живое, все растущее страдало от зноя — кроме разве ящерицы, что проворно сновала вдоль каменных оград, да цикады, стрекотавшей, точно тоненькая трещотка. Даже пыль словно запекалась на жару, и самый воздух дрожал, как будто и он задыхался от зноя.

Шторы, занавеси, ставни, жалюзи — все было спущено и плотно закрыто, чтобы преградить доступ сверкающему зною. Но стоило ему найти где-нибудь щель или замочную скважину, и он вонзался в нее, как добела раскаленная стрела. Всего надежней были защищены от него церкви. Там сонно мерцали лампы в сумеречной мгле, сонно раскачивались безобразные тени стариков-богомольцев и нищих, и выйти из тихого полумрака колонн и сводов было все равно что броситься в огненную реку, когда только и остается, что плыть изо всех сил к ближайшему островку тени. Город, где не видно людей, потому что каждый, разморясь от жары, рад укрыться в тени и лежать неподвижно, где почти не слышно гомона голосов и собачьего лая, где только нестройный колокольный звон или сбивчивая дробь барабана нарушает порой тишину, — таков был в этот день Марсель, жарившийся в лучах августовского солнца.

Существовала в то время в Марселе тюрьма мерзости невообразимой. В одной из ее камер, до того отвратительной, что даже сверкающий день гнушался ею и просачивался туда лишь в виде скудных выжимков отраженного света, помещалось двое узников. Приколоченная к стене скамья, вся в зарубках и трещинах, с грубо вырезанным на ней подобием шашечной доски, шашки, сделанные из старых пуговиц и суповых костей, домино, два соломенных тюфяка и несколь-

ко винных бутылок — вот и все, что находилось в камере, если не считать крыс и разной невидимой глазу нечисти, кроме нечисти видимой — самих узников.

Скудный свет, о котором говорилось выше, проникал в камеру через довольно большое, забранное железной решеткой окно, выходявшее на мрачную лестницу, откуда таким образом можно было во всякое время наблюдать за обитателями камеры. Выступ в кладке стены, у нижнего края решетки, образовал широкий каменный подоконник на высоте трех или четырех футов от полу. Сейчас на этом подоконнике полусидя, полулежа устроился один из узников; колени он подобрал, а спиной и ступнями ног упирался в боковые стенки оконного проема. Переplet решетки был настолько редкий, что не помешал ему просунуть руку меж двух прутьев и облокотиться на поперечину, что придавало его позе непринужденность.

Все здесь было отмечено печатью тюрьмы. Тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели — на всем сказывалось пагубное действие заключения. Лица людей побледнели и осунулись, железо заржавело, камень покрылся слизью, дерево сгнило, воздух был спертый, свет — мутный. Как колодец, как подземелье, как склеп, тюрьма не знала сияния дня и даже среди пряных ароматов где-нибудь на островах Индийского океана сохранила бы в неприкосновенности свою зловонную атмосферу.

Человека, полулежавшего на каменном подоконнике, пробрал даже холод. Нетерпеливым движением плеча он плотней запахнул свой широкий плащ и проворчал:

— Черт возьми это проклятое солнце, хоть бы раз заглянуло сюда.

Он ждал, когда его придут кормить, тесно прижавшись к решетке, старался высмотреть что-то внизу, куда уходила лестница, и выражением своего лица напоминал голодного зверя. Но во взгляде слишком близких посаженных глаз не было ничего от царственной гордости львиного взора; то был взгляд пронзительный, но неяркий — словно нацеленное острие клинка, которое почти не видно, если смотреть на него в упор. Эти глаза не имели глубины, лишены были разнообразия выражений; они просто открывались и закрывались, а иногда блестели, как у кошки. Искусный ремеслен-

ник мог бы изготовить лучшую пару глаз — если не говорить о службе, которую они служили своему обладателю. Нос был довольно красив, из тех, которые называют орлиными, но переносица чересчур высока, оттого и расстояние между глазами казалось чересчур малым. Что до остального, то это был человек рослый, видный, с тонкогубым ртом, прятавшимся под густыми усами, и шапкой жестких всклокоченных волос неопределенного пыльного цвета, кой-где, впрочем, отливавших рыжиной. Рука, просунутая между прутьев решетки (вся покрытая свежими, едва зажившими царапинами), была невелика, удивляла своей женственной пухлостью и, верно, удивляла бы также белизной, если бы смыть с нее тюремную грязь.

Второй узник лежал на каменном полу, укрывшись курткой грубого темного сукна.

— Вставай, скотина! — зарычал первый. — Не смей спать, когда я голоден!

— Можно и встать, патрон, — покорно и даже весело согласился тот, кого назвали скотиной. — Мне ведь все равно — что спать, что бодрствовать. Разница невелика.

С этими словами он встал, отряхнулся, почесал спину, накинул на плечи куртку, которой только что укрывался, завязал рукава под подбородком и, зевая, уселся на стол у стены напротив окна.

— Скажи, который час, — буркнул первый узник.

— Полдень пробьет через... через сорок минут. — Запинка была вызвана тем, что он обжегал глазами камеру, точно мог прочесть где-то ответ на заданный ему вопрос.

— С тобой не нужно часов. Как это ты всегда узнаешь время?

— Сам не знаю как. Я всегда могу сказать, который час и где я нахожусь. Меня привезли сюда ночью, на лодке, но я отлично знаю, где я. Вот, смотрите! Здесь Марсельская гавань. — Привстав на колени, он начал чертить смуглым пальцем по каменному полу. — Здесь Тулон (и тулонская каторга), вот с этой стороны Испания, а вон с той — Алжир. Там, налево, Ницца. А теперь вдоль Корниша сюда — и вот вам Генуя. Генуэзский мол и гавань. Карантин. А вот и самый город: поднимающиеся уступами сады, где цветет белладонна. Так, поехали дальше. Портофино. Возьмем курс на Ли-

ворно. А теперь на Чивитавеккья. Отсюда прямая дорога в... эх ты! Для Неаполя места не хватило! — Палец его уже уперся в стену. — Но все равно: Неаполь вот тут!

Он стоял на коленях, поглядывая на своего сотоварища не по-тюремному веселыми глазами. Небольшой загорелый человек, живой и юркий, несмотря на плотное телосложение. Серьги в коричневых от загара ушах, белые зубы, освещающие плутовскую физиономию, черные как смоль волосы, курчавящиеся над коричневым лбом, рваная красная рубашка, распахнутая на коричневой груди. Широкие, как у моряка, штаны, еще крепкие башмаки, красный колпак, сбитый набок, красный кушак, а за кушаком нож.

— Теперь смотрите, не собьюсь ли я с пути, возвращаясь. Следите, патрон! Чивитавеккья, Ливорно, Портофино, Генуя, Ницца (вот здесь, за Корнишем), Марсель и мы с вами. Вот тут, где приходится мой большой палец, — каморка тюремщика и его ключи, а здесь, у моего запястья, футляр, где хранится государственная бритва — гильотина; ее ведь тоже держат под замком.

Первый узник вдруг яростно сплюнул на пол и заскрежетал зубами.

И тотчас же, словно в ответ, заскрежетал внизу ключ в замочной скважине, затем хлопнула дверь. Послышались медленные, тяжелые шаги по лестнице, а вперемежку с ними детский щебечущий голосок; еще мгновение — и в окне показался тюремщик с маленькой девочкой лет трех или четырех, прижимавшейся к его плечу; в руке у него была корзина.

— Как поживаете нынче, господа? Моя дочурка тоже пришла со мной, поглядеть на отцовских птичек. Ну, что же ты? Вот они, птички, моя куколка, вот, гляди на них.

Поднеся ребенка поближе к решетке, он и сам зорко приглядывался к своим птичкам, особенно к той, что поменьше, — ее живость явно внушала ему недоверие.

— Я вам принес ваш хлеб, синьор Жан Батист, — сказал он (все трое говорили по-французски, но смуглый человек был итальянец). — И я хотел бы посоветовать вам: не играйте...

— А почему вы не советуете того же моему патрону? — спросил Жан Батист, ухмыляясь и показывая свои белые зубы.

— Так ведь ваш патрон всегда выигрывает, — возразил тюремщик, недружелюбно покосившись на того, о ком шла речь, — а вы проигрываете. Это совсем другое дело. Вам потом приходится есть один черствый хлеб, запивая его какой-то кислятиной, а он лакомится лионской колбасой, заливным из телячьих ножек, белым хлебом, сыром и отборными винами. Что же ты не смотришь на птичек, моя куколка?

— Бедные птички, — сказала малютка.

Святое сострадание озаряло хорошенькое личико ребенка, глядевшее сквозь решетку. Повинуясь невольному побуждению, Жан Батист встал и подошел ближе. Второй узник оставался в прежней позе, только жадно посматривал на корзину.

— Погодите-ка, — сказал тюремщик, ставя девочку на выступ по ту сторону решетки, — она сама покормит птичек. Вот этот каравай хлеба — для синьора Жана Батиста. Мы его разломим пополам, иначе его не просунуть в клетку. Смотри, какая славная птичка, даже поцеловала тебе ручонку. Колбаса, завернутая в виноградные листья, — это для господина Риго. И вкусное заливное из телячьих ножек тоже. И эти три белые булочки тоже. И сыр тоже, и вино тоже, и табак тоже — все для господина Риго. Счастливая эта птичка!

Девочка послушно передавала все названное в мягкие, нежные, изящной формы руки за решеткой, но делала это с явным страхом, иной раз даже спешила отдернуть свою ручку и, нахмурив лобик, смотрела не то испуганно, не то сердито. А между тем она так доверчиво положила черствый хлеб на заскорузлую, шершавую ладонь Жана Батиста (на всех десяти пальцах которого не набралось бы достаточно ногтя для одного лишь мизинца господина Риго), а когда он поцеловал ее ручку, ласково погладила его по щеке. Но господин Риго не обратил на это ни малейшего внимания; желая задобрить отца, он улыбался и кивал дочке, а когда все припасы были ему переданы и удобно разложены на подоконнике, принялся истреблять их с завидным аппетитом.

Когда господин Риго смеялся, в лице его происходила перемена, скорее занятная, нежели приятная. Его усы вздергивались кверху, а кончик носа загибался книзу, придавая ему зловещее и хищное выражение.

— Вот! — сказал тюремщик и, перевернув корзину, потряхнул со дна крошки. — Деньги ваши я потратил все. Вот

вам счетец, и дело с концом. Как я и предполагал, господин Риго, председатель будет иметь удовольствие встретиться с вами нынче в час пополудни.

— Чтобы судить меня, да? — спросил Риго, застыв с ножом в руке и с куском во рту.

— Угадали. Чтобы вас судить.

— А насчет меня ничего нет нового? — спросил Жан Батист, благодушно принявшийся было за свой черствый хлеб.

Тюремщик молча пожал плечами.

— Матьер Божия! Что же, я до конца своих дней буду сидеть тут?

— А мне откуда знать? — воскликнул тюремщик, обернувшись к нему с живостью истинного южанина и так яростно жестикулируя обеими руками и всеми десятью пальцами, как будто намеревался разорвать его в клочки. — Вздумал тоже спрашивать у меня, сколько он будет здесь сидеть! Ну откуда мне знать это, Жан Батист Кавалетто? Разрази меня бог! Иные арестанты вовсе не так рвутся поскорей попасть к судье в руки.

При этих словах он искоса глянул в сторону господина Риго, но господин Риго уже снова принялся закусывать, хоть и не с таким аппетитом, как прежде.

— До свидания, птички! — подсказал тюремщик своей дочурке, взяв ее на руки и целуя.

— До свидания, птички, — повторила малютка.

Тюремщик медленно стал спускаться с лестницы, напевая куплет из детской песенки:

Кто там шагает в поздний час?
Кавалер де ла Мажолэн!
Кто там шагает в поздний час?
Нет его веселей!

И таким милым было невинное личико, выглядывавшее поверх отцовского плеча, что Жан Батист счел своим долгом подтянуть из-за решетки верным, хотя и сипловатым голосом:

Придворных рыцарей краса,
Кавалер де ла Мажолэн!
Придворных рыцарей краса,
Нет его веселей!

Это заставило тюремщика остановиться, пройдя несколько ступенек, чтобы девочка могла дослушать песню и повторить припев, пока она и певец еще видели друг друга. Но вот ее головка скрылась из виду, исчезла и голова тюремщика, и только детский голосок слышался до тех пор, пока не хлопнула внизу дверь.

Жан Батист еще постоял у решетки, прислушиваясь к медленно угасавшему эху — в тюрьме даже эхо звучало глуше и словно отставало в изнеможении; но он мешал господину Риго, и тот пинком ноги отогнал его на прежнее место в темный угол камеры. Маленький итальянец как ни в чем не бывало уселся снова на каменный пол (видно было, что ему не привыкать стать к этому) и, разложив перед собой три ломтя черствого хлеба, принялся грызть четвертый с таким азартом, как будто побился об заклад, что расправится с ними в самое короткое время.

Быть может, и текли у него слюнки при взгляде на лионскую колбасу и на заливное из телячьих ножек, но эти пышные яства недолго щекотали его аппетит своим видом. Мысли о председателе и о суде не помешали господину Риго умять все дочиста, после чего он тщательно обсосал пальцы и вытер их виноградным листом. Допивая из бутылки вино, он оглянулся на своего собрата по заключению, и усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

— Как твой хлеб, хорош ли на вкус?

— Суховат немного, да приправа выручает, — отвечал Жан Батист, подняв свой нож.

— Какая такая приправа?

— А я, видите ли, умею по-разному резать хлеб. Вот так — будто дыню. Или вот так — будто жареную рыбу. Или так — будто яичницу. Или еще так — будто лионскую колбасу. — При этих словах Жан Батист ловко орудовал ножом, не забывая в то же время работать челюстями.

— Держи! — крикнул ему господин Риго. — Пей! Допивай до конца!

То был не слишком щедрый дар — вина в бутылке осталось лишь на донышке, — но синьор Кавалетто принял его с благодарностью; проворно вскочив на ноги, он подхватил бутылку, опрокинул ее себе в рот и причмокнул губами от удовольствия.

— Поставь бутылку туда, где стоят остальные, — сказал Риго.

Маленький итальянец исполнил приказание, а потом с зажженной спичкой наготове встал возле Риго, который свертывал себе папиросы из нарезанной квадратиками бумаги, доставленной ему вместе с табаком.

— Вот тебе! Можешь выкурить одну!

— Тысяча благодарностей, патрон! — отозвался Жан Батист на языке своей родины и со всей горячностью, свойственной ее сынам.

Господин Риго закурил, спрятал остальной запас курева в нагрудный карман, лег на скамью и вытянулся во весь рост. Кавалетто сидел на полу и мирно попыхивал папиросой, обхватив руками колени. Какая-то непонятная сила, казалось, притягивала взгляд господина Риго к тому местечку на полу, где Кавалетто, чертя план, останавливал свой большой палец. Итальянец, подметивший это, несколько озадаченно следил за направлением его взгляда.

— Что за гнусная дыра! — сказал господин Риго, прерывая затянувшееся молчание. — Ничего не видно даже при свете дня. Впрочем, разве это свет дня? Это свет прошлой недели, прошлого месяца, прошлого года! Взгляни, какой он слабый, тусклый!

Дневной свет попадал в камеру как бы процеженным через квадратную воронку окна на лестнице — окна, в которое нельзя было увидеть ни кусочка неба, да и ничего другого тоже.

— Кавалетто! — сказал господин Риго, отводя глаза от этой воронки, к которой они оба невольно обратили взгляд после его слов. — Кавалетто, ведь ты знаешь, что я джентльмен?

— Как не знать!

— Сколько времени мы находимся здесь?

— Я — завтра в полночь будет одиннадцать недель. Вы — нынче в пять пополудни будет девять недель и три дня.

— Видел ли ты хоть раз, чтобы я утруждал себя какой-нибудь работой? Подмел бы пол, или разостлал тюфяки, или свернул тюфяки, или подобрал рассыпавшиеся шашки, или сложил домино, или вообще палец о палец ударил?

— Ни разу!

— А пришло ли тебе хоть раз в голову, что мне бы следовало взяться за какую-нибудь работу?

Жан Батист энергично замахал указательным пальцем правой руки, что является самой сильной формой отрицания в итальянской речи.

— Нет! Стало быть, ты, как только увидел меня здесь, сразу же понял, что перед тобой джентльмен?

— Altro! — воскликнул Жан Батист, закрыв глаза и энергично тряхнув головой. Слово это в устах генуэзца может означать подтверждение, возражение, одобрение, порицание, насмешку, упрек, похвалу и еще полсотни других вещей; в данном случае оно примерно соответствовало нашему «Еще бы!», но только учетверенному по силе выражения.

— Ха-ха! Что ж, ты прав! Джентльменом я был, джентльменом остался и джентльменом умру. Это мое ремесло — быть джентльменом. Это мой козырь в игре, и — громы и молнии! — я намерен ходить с него до самого конца. — Он сел и воскликнул с победоносным видом: — Вот я какой! Слепая прихоть судьбы забросила меня в одну камеру с ничтожным контрабандистом, с жалким беспаспортным оборванцем, которого полиция сцапала за то, что он дал свою лодку другим таким же беспаспортным оборванцам, собиравшимся удрать на ней за границу. И что же? Он тотчас чутьем угадал во мне джентльмена, даже здесь, в этой гнусной дыре, при этом гнусном освещении. Здорово! Черт возьми, мои козыри остаются козырями при любой игре. — Снова его усы вздернулись кверху, а нос загнулся книзу. — Который теперь час? — спросил он, облизнув пересохшие губы, и бледность его лица не вязалась с деланым весельем тона.

— Скоро половина первого.

— Отлично! Осталось совсем немного до назначенного свидания джентльмена с председателем суда. Слушай! Хочешь, я расскажу тебе, в чем меня обвиняют? Другого случая не будет, потому что я сюда уже не вернусь. Одно из двух: меня либо выпустят на свободу, либо отправят бриться. Ты знаешь, где у них спрятана бритва.

Синьор Кавалетто вынул папиросу изо рта и на миг обнаружил большее волнение, чем можно было ожидать.

— Так вот, — начал господин Риго, встав и выпрямившись во весь рост. — Я джентльмен-космополит. У меня нет

родины. Отец мой был швейцарец из кантона Во. Мать — француженка по крови, англичанка по рождению. Родился я в Бельгии. Я гражданин мира.

Он стоял в картинной позе, упираясь одной рукой в бедро под свободно падавшими складками плаща, и говорил, не глядя на слушателя, а словно бы обращаясь к противоположной стене; все это наводило на мысль, что он скорее репетирует свои ответы суду, нежели заботится об осведомлении такой ничтожной особы, как Жан Батист Кавалетто.

— Можете считать, что мне сейчас тридцать пять лет от роду. Я повидал свет. Жил везде понемногу — и всегда жил джентльменом. Как джентльмена меня встречали повсюду. И как джентльмену оказывали мне уважение. А если вы вздумаете изобличать меня в том, что я обманом и хитростью добывал себе средства к существованию, я спрошу вас: а как живут ваши адвокаты, ваши политики, ваши спекуляторы, ваши биржевые дельцы?

Он то и дело выбрасывал вперед свою небольшую изящную руку, словно наглядное доказательство его благородного происхождения, уже не раз сослужившее ему службу.

— Два года назад я приехал в Марсель. Перед тем я долго болел, и кошелек мой, не стану скрывать, был пуст. А разве у ваших адвокатов, ваших политиков, ваших спекуляторов, ваших биржевых дельцов болезнь не скажется на состоянии кошелька — если только они не успели раньше обзавестись капиталцем? Остановился я в гостинице «Золотой крест», содержатель которой, господин Анри Баронно, был мужчиной преклонных лет и весьма слабого здоровья. На четвертый месяц моего пребывания там господин Баронно имел несчастье скончаться, что может случиться со всяким. Немало людей каждый день переселяется в лучший мир без моей помощи.

Жан Батист докурил свою папиросу до самых кончиков пальцев, и господин Риго в порыве великодушия бросил ему еще одну. Прикурив от тлеющего окурка, итальянец продолжал пускать дым, исподлобья глядя на своего товарища, который почти не замечал его, поглощенный рассказом.

— У господина Баронно осталась вдова. Ей было двадцать два года. Она считалась красавицей и в самом деле была красива (что не одно и то же). Я продолжал жить в «Золо-

том кресте». Я женился на госпоже Баронно. Не мне говорить о том, равный ли это был брак, но взгляните на меня: хотя два с лишком месяца тюрьмы не могли пройти бесследно, не сдается ли вам, что я был ей более под стать, нежели ее покойный супруг?

У него были замашки красавца и светского человека, хотя он не был ни тем ни другим; он брал лишь бахвальством и самоуверенностью, но у половины рода людского в таких случаях, как и во многих других, апломб легко сходит за доказательство истины.

— Как бы там ни было, госпоже Баронно я пришелся по сердцу. Надеюсь, это не может быть поставлено мне в вину?

Задав этот вопрос, он невзначай глянул на Жана Батиста, и маленький итальянец энергично замотал головой, для большей убедительности без передышки твердя: «*Altro, altro, altro, altro!*»

— Вскоре у нас пошли нелады. Я горд. Не стану утверждать, что это похвально, но таково уж мое природное свойство. Кроме того, я властолюбив. Подчиняться я не умею: у меня потребность властвовать. На беду, капитал госпожи Риго находился в ее личном распоряжении. Этот старый дурак, ее покойный муж, закрепил его за нею. В довершение беды у нее оказалась большая родня. Когда родственники жены начинают вмешиваться в семейную жизнь, это ставит под угрозу мир в семье, особенно если муж — джентльмен, если он горд и если у него потребность властвовать. Нашелся и еще источник раздоров. У госпожи Риго, к несчастью, были несколько вульгарные манеры. Я попытался улучшить их, давая ей наставления по части хорошего тона; она (опять-таки не без поддержки со стороны родственников) обижалась на это. Мы стали ссориться, а родственники госпожи Риго распускали всякие сплетни и клевету, преувеличивая наши нелады и делая их предметом соседских пересудов. Стали говорить, будто я жестоко обращаюсь с госпожой Риго. А между тем самое большее, что могли видеть, это как я разок-другой ударю ее по лицу. К тому же рука у меня легкая, и если мне когда-либо и случалось поучить госпожу Риго таким образом, то это скорей была шутка.

Если шутки господина Риго хоть отчасти напоминали то, что выражала усмешка, искривившая при этих словах его

губы, родственники злосчастной госпожи Риго имели все основания предпочитать, чтобы он поучал ее не в шутку, а всерьез.

— Я самолюбив и отважен. Не хочу ставить это себе в заслугу, но таковы мои природные свойства. Если бы родственники госпожи Риго пошли против меня в открытую, я бы знал, как мне с ними быть. Но они, понимая это, плели свои интриги тайно и лишь способствовали тому, что столкновения между мною и госпожой Риго все учащались и усиливались. Даже когда мне требовалась небольшая сумма денег на мои личные расходы, я не мог получить ее без столкновения — и это я, чье природное свойство — властвовать! Однажды вечером мы с госпожой Риго, как добрые друзья или, еще лучше сказать, как влюбленная парочка, гуляли по обрыву над самым морем. Какой-то злой дух подстрекнул госпожу Риго завести речь о своих родственниках. Я стал укорять ее, доказывая, что добрая и любящая жена не должна поддаваться коварным наущениям родственников, имеющих целью посеять в ней вражду к мужу. Госпожа Риго возражала; я тоже возражал. Госпожа Риго рассердилась; я тоже рассердился и наговорил лишнего. Я это признаю. Откровенность — мое природное свойство. И вот госпожа Риго в припадке ярости (никогда не прошу себе, что довел ее до этого) набросилась на меня с дикими воплями — их-то, должно быть, и слышали проходившие по дороге, — стала рвать мне волосы, царапать руки, изодрала мое платье, истоптала всю землю кругом, а в конце концов прыгнула с обрыва и насмерть разбилась о прибрежные скалы. Вот те события, которые людская злоба извратила, представив дело так, будто я старался принудить госпожу Риго отказаться от своих имущественных прав в мою пользу и, не добившись успеха, убил ее.

Он шагнул к окну, на котором еще лежали разбросанные виноградные листья, взял два или три листка и, стоя спиной к свету, стал вытирать ими руки.

— Ну? — спросил он после некоторого молчания. — Что ты на все это скажешь?

— Скверное дело, — ответил маленький итальянец; он уже встал и, держась одной рукой за стену, чистил свой нож о подошву башмака.

— Это что значит?

Жан Батист молча начищал нож.

— Уж не намекаешь ли ты, что я рассказал не так, как оно было?

— Altro! — воскликнул Жан Батист. На этот раз это прозвучало как извинение и должно было означать: «Что вы, помилуйте!»

— Как же понять твоё замечание?

— Суды и судьбы так пристрастны...

— Хорошо же! — вскричал рассказчик и, прибавив ругательства, судорожным движением забросил край плаща на плечо. — Пусть выносят самый худший приговор!

— Так они, верно, и сделают, — пробормотал себе под нос Жан Батист, низко наклонив голову и засовывая нож за кушак.

Больше ни с той, ни с другой стороны не было сказано ни слова, хотя оба узника принялись расхаживать по камере взад и вперед и пути их всякий раз скрещивались на середине. Несколько раз господин Риго, казалось, вот-вот готов был остановиться, желая то ли сообщить еще что-то о своем деле, то ли просто отвести душу злобным восклицанием; но синьор Кавалетто, не поднимая глаз, рысцой трусил дальше, и господин Риго волей-неволей продолжал свою прогулку, так и не раскрыв рта.

Но вот где-то загремел в замке ключ, заставив обоих остановиться и прислушаться. Донесся разноголосый говор, топот шагов. Потом хлопнула дверь, шаги и голоса стали приближаться, и по лестнице, тяжело ступая, поднялся тюремщик в сопровождении небольшого отряда солдат.

— Ну, господин Риго, — сказал тюремщик, подойдя к решетке с ключами в руке. — Прошу вас, выходите.

— Я вижу, меня решили доставить с почестями!

— Это необходимо, — возразил тюремщик, — иначе вас, пожалуй, разорвут на столько частей, что потом и не соберешь. Внизу теснится толпа горожан, господин Риго, и она настроена не слишком дружелюбно.

Он отошел от окна; стало слышно, как он возится с замками и засовами. Минуту спустя отворилась низенькая дверь в углу камеры и тюремщик показался на пороге.

— Итак, прошу вас, — повторил он, обращаясь к узнику.

Среди всех оттенков белого цвета на земле нет такого, которым можно было бы обозначить бледность, разлившую-

ся по лицу господина Риго. И среди всех выражений, свойственных человеческим чертам, не найти ничего похожего на выражение этого лица в миг, когда, казалось, в каждой крохотной его жилке бился страх, сжимавший сердце. Говорят обычно: «Бледен, как мертвец, страшен, как мертвец», но сравнение это неверно, ибо нет и не может быть сходства между завершенной борьбой и отчаянным напряжением решающей схватки.

Он вставил в рот новую папиросу и, прикурив у своего товарища по заключению, крепко стиснул ее в зубах; потом надел шляпу с мягкими, низко свисающими полями, снова перебросил через плечо край плаща и вышел в дверь, даже не оглянувшись на синьора Кавалетто. Впрочем, и тому было сейчас не до него; все внимание маленького итальянца сосредоточилось на одном: как бы подойти ближе к двери и выглянуть наружу. Точно зверь, подкравшийся к отворенной дверце клетки, за которой — свобода, он жадно вглядывается в темноту узкой галереи, куда выходила дверь камеры, пока эта дверь не захлопнулась перед ним.

Конвоем командовал офицер, флегматичный толстяк с обнаженной шпагой в руке и дымящейся сигарой во рту. Он коротко приказал своим солдатам построиться вокруг господина Риго, с невозмутимым хладнокровием занял место во главе отряда, скомандовал: «Марш!» — и процессия под бряцанье оружия тронулась вниз по лестнице. Хлопнула дверь, повернулся ключ в замке, и от ворвавшейся было в тюрьму струи непривычного воздуха и света остался лишь медленно таявший синеватый дымок офицерской сигары.

Второй узник, оставшись один, с проворством обезьяны или медвежонка, которого раздражили, взобрался на подоконник, чтобы не упустить ничего из церемонии отбытия. Он все еще стоял, сжимая решетку руками, как вдруг до его слуха донесся громкий шум — крики, брань, вопли, угрозы, проклятия сливались в сплошной яростный гул, похожий на рев бури.

Узник торопливо спрыгнул с окна и заметался по камере, в своем беспокойстве еще более похожий на дикого зверя в клетке; потом он снова вскочил на окно, вцепился в решетку и стал трясти ее обеими руками, снова спрыгнул и заметался из угла в угол, снова вскочил на окно и прислушался,

и так он не мог найти себе покоя до тех пор, пока шум не замер в отдалении. А сколько узников с душой куда более благородной вот так же исходят тоской в неволе, и никто не задумывается об этом, даже любимые ими существа далеки от истины. А великие мира сего, те, что обрекли их на заточение, в это время гарцуют в лучах солнца под приветственные клики толпы; когда же пробьет их смертный час, спокойно отходят в вечность на собственной постели, напутствуемые восхвалениями и пышными речами, и учтивая история, более раболепная, чем любой клевет, услужливо бальзамирует трупы!

Наконец Жан Батист, который волен был теперь выбирать в этих стенах любое место для проверки своей способности засыпать когда вздумается, лег на скамью, подложив под голову скрещенные руки, закрыл глаза и через мгновение уже спал. В своей беспечности, в своей покладистости, в своем добродушии, в коротких вспышках гнева, в том, как легко приходил к нему сон, в том, как легко он довольствовался черствым хлебом и жестким ложем, в быстрой смене горя и веселья — во всем этом он был истинным сыном своей родины.

Меж тем сверкание, разлитое кругом, стало меркнуть и мало-помалу угасло; в ореоле алых, зеленых, золотистых лучей закатилось солнце; звезды высыпали на небе, а на земле, подражая им, засияли светлячки, — так добрые дела, совершаемые людьми, служат лишь жалким подобием высшего добра. На пыльные дороги и на бескрайнюю равнину лег покой, глубокая тишина воцарилась над морем, и даже волны не шептались о том далеком дне, когда им придется возвращать своих мертвых.

ГЛАВА II

Дорожные спутники

— Сегодня, кажется, уже не орут, как орали вчера, верно, сэр?

— Не слышно, во всяком случае.

— Стало быть, не орут. Эти люди, когда открывают рот, так уж заботятся о том, чтобы их было слышно.

— Вполне естественная забота.

— Да, но ведь они орут постоянно. Им без этого жизнь не в жизнь.

— Вы говорите о марсельцах?

— Я говорю о французах. Все они любители поорать. А что до Марселя, так мы знаем, что такое Марсель. Город, откуда пошла гулять по свету самая возмутительная бунтовская песня из всех, когда-либо сочиненных на земле. Который просто не мог бы существовать без этих своих *аллон-маршон* — все равно куда, хоть к победе, хоть к смерти, хоть к черту, на худой конец.

Произнесший эту тираду — с самым, впрочем, забавно-добродушным видом — перегнулся через парапет и обвел Марсель взглядом, исполненным величайшего презрения, а затем принял независимую позу, заложив руки в карманы и брэнча там монетами, и подкрепил этот взгляд уничижительным смешком.

— *Аллон-маршон*, скажите на милость! Лучше бы дали порядочным людям *аллон-маршон* по их надобностям, а не запирали их в какой-то дурацкий карантин!

— Да, обстоятельство предосадное, — согласился второй собеседник. — Но сегодня нас обещают выпустить.

— Обещают выпустить! — воскликнул первый. — Да это, если хотите, еще большее безобразие. Выпустить! А с какой стати нас здесь вообще держат?

— Действительных причин нет, согласен. Но поскольку мы прибыли с Востока, а Восток — пристанище чумы...

— Чумы! — подхватил первый. — Вот в этом все дело. Недолго и очуметь от того, что с нами здесь происходит. Я, словно человек в здравом уме и твердой памяти, которого засадили в дом для умалишенных, просто не могу перенести, что меня подозревают в чем-либо подобном. Мое здоровье не оставляло желать лучшего, когда мы сюда приехали, но от одного подозрения, что я могу быть зачумлен, я совсем очумел. Да, да, они правы: у меня чума.

— Вы ее отлично переносите, мистер Миглз, — с улыбкой отозвался его собеседник.

— Ошибаетесь. Знай вы всю правду обо мне, вы бы так не говорили. Уж сколько времени я просыпаюсь по ночам и твержу себе: вот я заболеваю, вот я уже заболел, вот теперь

я умру, и эти негодяи воспользуются моей смертью, чтобы оправдать свои предосторожности. Да я предпочел бы, чтобы меня сразу проткнули булавкой и накололи на картон, точно какую-нибудь букашку в коллекции насекомых, чем терпеть те муки, которые я здесь терплю.

— Полно тебе, мистер Миглз, что уж теперь говорить об этом, когда все позади, — слышался жизнерадостный женский голос.

— Позади! — подхватил мистер Миглз, который (вопреки своему природному добродушию) находился, видимо, в таком расположении духа, когда всякая попытка со стороны прекратить спор лишь подливает масла в огонь. — А хотя бы даже и позади, почему же мне не говорить об этом?

Женский голос принадлежал миссис Миглз, а миссис Миглз походила на мистера Миглза — у нее было такое же приветливое, румяное лицо, одно из тех славных английских лиц, на которых запечатлелся отблеск камелька и домашнего уюта, озаряющего их пять или шесть десятков лет.

— Ну, ну, уймись, папочка, уймись, — сказала миссис Миглз. — Вот погляди на Бэби себе в утешение.

— На Бэби! — все еще ворчливо повторил мистер Миглз, но в это время сама Бэби, стоявшая тут же, положила руку на отцовское плечо, и мистер Миглз немедленно и от глубины души простил Марселю все обиды.

Бэби можно было дать лет двадцать. Это была красивая девушка с густыми каштановыми волосами, самой природой завитыми в крупные локоны. Особенно хороши были у нее глаза — такие большие, такие ясные, такие блестящие, так чудесно озарявшие ее открытое доброе лицо. Пухленькая, свеженькая, вся в ямочках, она была немилосердно избалована и отличалась той робкой беспомощностью, которая составляет самый очаровательный недостаток на свете; ей он придавал дополнительную прелесть, без чего, впрочем, столь милая и хорошенькая девушка могла бы и обойтись.

— Прошу вас, скажите мне, — проникновенно и доверительно произнес мистер Миглз, отступив на шаг назад и подтолкнув дочь на шаг вперед для большей наглядности, — скажите мне откровенно, как джентльмен джентльмену, можно ли было придумать большую нелепицу, нежели посадить Бэби в карантин?